

Томас ПАХУЗЕН (Женева)

ИНВЕРСИЯ УТОПИЧЕСКОГО ДИСКУРСА. О ЗАПИСКАХ ИЗ ПОДПОЛЬЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО.

Введение

Записки из подполья Ф.М. Достоевского часто воспринимаются критикой как своего рода "бредовый" текст, якобы отражающий особый мир, не подверженный законам мира реального.¹ С другой стороны, те же *Записки*, как известно, являются прямым ответом на роман Н.Г. Чернышевского *Что делать?* и на его статью *Антropolогический принцип в философии*, а в более общем смысле – ответом на всю утопическую идеологию шестидесятых годов. Возникает вопрос: равнозначны ли "бред" больного ума и анти-утопия?

В настоящей работе делается попытка ответить на этот вопрос, прибегая к анализу дискурса *Записок из подполья*, анализу, использующему как лингвистический, так и литературоведческий методологический и понятийный аппарат. Я постараюсь показать, что исследование определенных языковых явлений и их роли в тексте может внести некоторую ясность в решение намеченной выше проблемы. Говоря конкретно, ниже будут рассмотрены явления лексического повтора, полной или частичной редупликации слова, игра с обозначающим (типа парономазии), стилистические приемы (типа плеоназма, тавтологии, противоречия); принимая во внимание текст как единое целое, речь пойдет о явлениях рекурсивности (повторяемости), избыточности и замыкании текста "на себя".

Изучение языка литературного текста входит в область традиционной стилистики. От такой стилистики лингвистический анализ литературного текста отличается, на мой взгляд, тем, что он эксплицитно основывается на теоретической концепции как языка, так и его анализа, иными словами, опирается на определенную лингвистику.

Существует ли лингвистика литературного текста?

В недавно опубликованной статье "Противоречие и связность в пьесе *Лысая певица*" (Е. Ионеско) (Moeschler 1985) ставится вопрос о подходе к литературному тексту и к проблеме "противоречивых высказываний", имеющих место в таком тексте (в данном случае, в тексте театральном).

Должен ли быть этот подход *семиологическим* или *лингвистическим*? Семиолог видит здесь проблему "кода", имплицитно связанную с теорией отклонения. "Высказывание противоречиво лишь в рамках

семиотики стандартного французского языка, но отнюдь не в рамках языка Ионеско". Второй подход, принятый автором статьи, исходит из pragматической теории дискурса и прилагает к противоречивым высказываниям критерий соответствия/несоответствия дискурсивным нормам. Иначе говоря, "лингвистический" подход состоит в рассмотрении литературного текста как необычного употребления обычного языка. Немедленно напрашивается возражение, что необычного употребления обычного языка недостаточно для того, чтобы текст стал литературным.

Я придерживаюсь взгляда, что оба подхода - семиологический и лингвистический - комплементарны; они могут даже совпасть - при том условии, что выбранный метод способен адекватно описать объект изучения. Адекватность же теории или анализа своему объекту можно определить по степени исчерпываемости, которую данная теория или анализ допускают в описании объекта. Стремление к исчерпываемости позволяет избежать произвольности, чистой интуитивности, толкований, действительных лишь для данной ситуации и пр. Стремление к исчерпывающему анализу имеет своей целью исключить неполную интерпретацию, по мере возможности воспрепятствовать необъективному подходу.

Тот же принцип исчерпываемости ведет к констатации тривиального факта: литературный текст представляет собой единое целое, имеет начало и конец. Отсюда с необходимостью вытекает заключение о том, что лингвистика литературного текста не может ограничиваться лингвистикой предложения, а должна стать текстовой лингвистикой, точнее, текстовой лингвистикой целого текста. Показать это - задача моей статьи.

В ее основе - сознательный эпистемологический выбор. Исходя из того факта, что каждая предварительно заданная теоретическая модель может быть заподозрена в абстрагировании, обобщении, а значит, в исказении объекта анализа, мой разбор *Записок из подполья* направлен на раскрытие дискурсивной основы текста и, исходя из общеметодологического принципа исчерпываемости, ставит целью разработать ряд аналитико-описательных операций, позволяющих уточнить понятие "адекватного" лингвистического анализа литературного текста: совокупность этих операций сможет тем самым составить "модель" для последующих работ.

1. Тавтологическое порождение

Внимательное прочтение *Записок из подполья* позволяет обнаружить в тексте большое количество плеонастических конструкций, "тавтологий" типа *видом не видать и слыхом не слыхать; наука научит человека; самая выгодная выгода* (т.е., по классической риторике, *derivatio* или *figura etymologica*, "способствующая усилению семантики" (Lausberg 1982: 90-91) и т. п.

Прежде чем продолжать, необходимо сделать уточнение: термин "тавтология" употребляется здесь в общем смысле, тогда как существуют по меньшей мере два его значения. "Тавтологической" называется фраза, которая ничего не прибавляет к смыслу сказанного, избыточная информация. "Предполагается, что текст содержит в себе некоторую содержательную информацию. Избыточными мы будем считать все элементы текста, которые не увеличивают в нем количества этой информации" (Никитина, Откупщикова 1970:7). В другом значении термин применяется к "аналитической фразе", т.е. фразе, истинность которой доказывается лишь общими логическими законами и дефинициями (см. Сагпар 1968:39-40). Так, предложение " $2 \times 2 = 4$ " истинно лишь в свете правил, заданных арифметикой (см. Martin 1983:23). Если риторическое *derivatio* (см. выше) является тавтологией в первом значении, то "аналитические фразы" также присутствуют в *Записках из подполья*: наша задача будет, между прочим, состоять в определении связей между этими двумя формами. Но вернемся к тексту.

Определение слова тем же самым словом (напр., определение существительного прилагательным того же корня) и другие разновидности "тавтологической редупликации" встречаются главным образом - но не исключительно - в 7-й и 8-й главах первой части *Записок ("Подполье")*. По единодушному признанию критики, в этих главах человек из подполья ведет полемику прежде всего с утилитаристской идеологией Чернышевского, точнее, с его теорией "разумного эгоизма", утверждающей, что человек поступает плохо, ибо живет в плохих условиях; достаточно изменить эти условия для того, чтобы его поступки стали хорошими, так как поступать хорошо будет для него выгоднее. Отсюда вывод: человек сам не знает, в чем его выгода, но дайте нам свободу действий и мы откроем ему глаза.

В первых же фразах 7-й главы, хотя они и представляют собой монолог человека из подполья, мы без труда слышим "голос" его собеседника (как правило, приписываемый Чернышевскому), все аргументы которого, касающиеся того, что по-настоящему выгодно

людям, постепенно высмеиваются человеком из подполья: здесь и повторы слов *интересы, выгоды*, и повторы их определений (настичие, нормальные, собственные, свои и т. п.), и восклицание с последующим вопросом о смысле слова "выгода" (выгода! что такое *выгода*?). И далее по принципу прогрессии выстраивается ряд, в котором слово *выгода*, противопоставленное слову *худой*, повторяется и превращается в человеческую *выгоду*, затем в *вашу выгоду*, вплоть до той *мудреной выгоды*, которая *ни в какую классификацию не попадает*, и еще дальше - до самой лучшей *выгоды*, до первоначальной *выгоды* и - чтобы уж логики не нарушать - (*sic!*) до самой *выгодной выгоды*. Последняя же, после длительного отступления, подхватывается в конце 7-й главы, где она уже отожествляется с "*хотеньем*".

В этом месте прогрессия вновь набирает силу, на этот раз со словами *хотел, хотеть, хотенье* (последнее частично удваивается парономазией *хотя*). "*Хотенье*" в свою очередь определяется прилагательными, часть которых уже была дана анафорически в начале 7-й главы: *собственное, вольное, свободное, самостоятельное, нормальное, добродетельное и... выгодное*. И опять нагнетание эффекта в начале 8-й главы, в непосредственном продолжении описанного:

- Ха-ха-ха! да ведь хотенья-то в сущности, если хотите, и нет!
- прерываете вы хохотом.

Обратим внимание на прием аллитерации *ха*, сопряженный с повторами *хотенья - хотите* и парономастической игрой *ха-ха-ха - хотенья - хотите - хохотом*.

В этой цепочке повторяющиеся ключевые слова определяются словами, все более им близкими, в конечном итоге - словами того же корня или парономазией; эта нарастающая прогрессия идет до конца 11-й главы (первой части) и - с перерывами - до конца книги с последней, так сказать, петлей в 10-й главе второй части.

Добавим, что то и дело появляются "внесерийные" редупликации: так, например, в главе 7-й первой части, мы находим фразеологические удвоения (*человек*) *готов видом не видать и слыхом не слыхать*; или "афористические" высказывания: *наука научит человека*, или же повторы уже известного нам типа: *наши хотенья (...) бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды; такой, каким будет будущий человек, и т. д.*

Задержимся ненадолго. Совершенно очевидно, что перед нами та "регressия в металингвистику", о которой говорил Ц. Тодоров в своей вступительной статье к двуязычному русско-французскому изданию *Записок из подполья* (Aubier Montaigne, Paris 1972). Но масштаб явления

показывает, что оно отнюдь не ограничивается уровнем "ролей" ("они", "вы", "раздвоенное я"): достаточно присмотреться к главам 7-8 и к их окружению, чтобы заметить, что весь текст в целом непрерывно замыкается на себя. Речь идет не только о сериях "выгод" или "хотенья", в тексте есть и многие другие, которые развиваются по аналогичному принципу нарастания и повторов.

Анафорическая структура текста

Одним из проявлений так называемого "отклонения" является, как известно, "синтагматизация парадигмы", т.е. нарушение закона, согласно которому языковой узус избегает слишком близкого соседства или чересчур регулярного чередования единиц той же парадигмы, как на грамматическом, так и на семантическом уровне (Barthes 1964:129; Marcus 1968:467). Иначе говоря, речь идет о соотношении "старого" и "нового", определяющем развертывание текста и, вместе с тем, его связность. Перенасыщение текста "старыми", "уже сказанными" элементами ведет к палилалии или палимфразии (патологическому повторению того же слова, той же фразы); перенасыщение "новыми" элементами ведет к бессмыслице.

С каким текстом мы имеем дело? Его "отклонение", как мы видели, заключается в перенасыщении "старыми" элементами. Рассмотрим это явление ближе.

Можно сказать, что парадигма именных лексем постепенно "перекрывает" парадигму адъективных определяющих, причем последние сначала "определяют", а затем присоединяются к парадигме "определеняемых". Совокупность этих отношений образует то, что можно назвать *анафорической структурой текста*.

Структура эта функционирует таким образом, что между парадигмой определяемых (напр.: существительные) и парадигмой определяющих (напр.: прилагательные) образуется внутритекстовая референтная связь - "эндофорическая референция" по терминологии Халлидея и Хазана (Halliday / Hasan 1976) - которая и обеспечивает, анафорически и катафорически, необыкновенную связность текста *Записок из подполья*.²

Возьмем в качестве примера начало 7-й главы первой части: определяющее относится к определяемому и, вместе с тем, анафорически отсылает к ранее появившемуся в тексте определяемому (в данном случае, к серии таких определяемых), с которым у него общая основа, общий корень (на уровне означающего - *signifiant*) и/или общий смысл

(на уровне означаемого - *signifié*: синонимия). Я имею в виду сочетание *человеческая выгода*, где *человеческая* отсылает к многократно повторенному раньше *человек*. В тексте это представляется так:

(...) кто первый провозгласил, что *человек* (...) ←
(...) то *человек* тотчас же перестал бы (...) ←
(...) а известно, что ни один *человек* (...) ←
(...) чтоб *человек* действовал только (...) ←
(...) как *люди* зазнамо, то есть (...) ← -
(...) в чем именно *человеческая выгода* состоит (...) ←

То же определение может иметь внутритекстовую референтную связь с определяемыми (напр.: *человек*), имеющими общий корень и/или общий смысл и появляющимися в катафорическом положении, "ниже" в тексте. Отношения становятся "тавтологическими", когда определяющее и определяемое с тем же корнем и/или смыслом сближаются настолько, что первое прямо определяет второе. Так внутритекстовые референтные связи порождают "тавтологическую редупликацию":

человек → (...) настоящие свои выгоды → (...) *человеческая выгода* → (...) *выгодная выгода* → (...) *выгоднее всех выгод...*

Нужно подчеркнуть, что отношения между элементами текста не исчерпываются "эндофорической референцией". Неоднократно встречаются отношения, которые можно назвать, пользуясь терминологией Линдберга (Lindberg 1983), "внутритекстовой экзофорической референцией". Таковы случаи, когда элемент, принадлежащий к денотативной инстанции текста (к "повествуемому" тексту) входит в референтные отношения с аллокутивной инстанцией (т.е. с текстом, "обращенным" к собеседнику). Возьмем пример:

У меня, например, есть приятель... Эх, господа! да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот *господин* тотчас же изложит вам (...) [Курсив мой.]

Слово *господин* относится, разумеется, к слову *приятель*; но в то же время оно устанавливает референтную связь с обращением *господа*. Разные текстовые инстанции перекрываются. Другой пример:

Ведь я, например, несколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия

возникнет какой-нибудь джентльмен (...), упрут руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу (...) [Курсив мой.]

Здесь *господа* является, конечно, обращением, но это обращение не что иное как часть "обращенного" текста, который в качестве подмножества входит в состав множества "повествуемого" текста. Причем обращение сохраняет референтную связь и с "обращенным" текстом другого уровня: напомним, что человек из подполья сам постоянно обращается к *господам*.

Отметим отсутствие кавычек в процитированном отрывке. Что это - авторская небрежность? Одно из правил русского языка? Ни то, ни другое: это особенность текста, повторяющаяся и в *Записках*, и в других произведениях Достоевского. Дело именно в том, чтобы стереть границы между текстовыми инстанциями (между текстом повествователя и текстом персонажа), чтобы инстанции эти "перекрывались". Целостность текста возрастает, но вместе с тем, в самой повествовательной технике, "все это благоразумие" столкнуто...

Ниже предлагается схема, иллюстрирующая описанные выше внутритекстовые референтные связи. Слева представлена парадигма определяемых, справа - парадигма определяющих. Пунктирные линии обозначают эндофорические внутритекстовые отношения. Знак \emptyset обозначает наличие "тавтологических" отношений.

Добавим, что схема охватывает данные всей 7-й главы первой части; 8-я глава представлена частично. В схему включены лишь наиболее часто повторяющиеся серии ("ключевые слова"); в тексте есть и другие, менее частые и более короткие серии. Исчерпывающий анализ должен был бы рассмотреть и местоимения, частицы и все средства текстового указания (тот, этот, вот об которой сейчас говорили и т. п.). Но такое исследование потребовало бы машинной обработки текста, что не кажется необходимым в рамках поставленных в этой статье задач.

Записки из подполья : анафорическая структура текста

Объект анализа : именные лексемы (подборка "ключевых слов") и их определяющие

ИМЕННЫЕ ЛЕКСЕМЫ

Но лексем в порядке их появления в тексте
Обращения не нумерованы *
В скобках : неименные лексемы , нап. глаголы
В квадр. скобках : цитаты

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

No+ в порядке появления
в тексте

Глава 1.7.

1. человек		
2. интересов	настоящих своих -	1+2+
2. интересы	настоящие, нормальные -	1+3+
1. человек		
3. выгоды	настоящие свои -	1+2+
3. выгоду	собственную свою -	4+2+
1. человек		
3. выгод	собственных своих -	4+2+
1. человек		
3. выгоды	одной своей собственной -	5+2+4+
1. люди		
3. выгоды	свои настоящие -	2+1+
3. выгоды	всякой -	6+
3. выгода?		
3. выгода	человеческая -	7+
.....		
3. выгода	человеческая -	7+
.....		
3. выгодного		
господа		
3. выгоды	- человеческие	7+
.....		
4. классификацию		
господа		
3. выгод	человеческих -	7+
.....		
3. выгоды	ваши -	8+
1. человек		
5. рода	- человеческого	7+
.....		
3. выгод	человеческих -	7+
.....		
3. выгоду	одину -	5+
3. выгоду	эту -	9+
3. выгоды	эта мудреная -	9+10+
4. классификацию		
господа		
6. господин **	этот -	9+
.....		
7. рассудка		

2. интересах	настоящих, нормальных - человеческих -	1+3+ 7+
3. выгод	своих -	2+
2. интересов	всех его -	11+12+
7. рассудка		
3. выгоды	собственной -	4+
господа		
1. человеку	всякому -	6+
3. выгод	самых лучших его -	13+14+12+
3. выгода	одна такая	5+15+
	самая выгодная -	13+16+
Ø.....	
	- [именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас гово- рили], которая главнее и выгоднее	17+16+
Ø.....	
3. выгод	всех других -	11+18+
1. человек		
7. рассудка		
3. выгоды	первоначальной, самой выгодной -	19+ 13+16+
Ø.....	
3. выгоды	эта -	9+
3. выгода	все наши -	11+20+
4. классификации	- человеческого	7+
5. рода		
Ø.....	
5. рода	- человеческого	7+
Ø.....	
3. выгоду	этую -	9+
1. человечеству		
2. интересов	настоящих, нормальных -	1+3+
	его -	12+
2. интересов	этих -	9+
5. рода	- человеческого	7+
Ø.....	
3. выгод	его собственных -	12+4+
8. цивилизации		
1. человек	- менее кровожаден	21+22+
Ø.....	
1. человек	и менее способен	21+23+
	[готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб оправдать свою логику]	
Ø.....	
9. кровьØ.....	
	(жил)	
8. цивилизация		
8. цивилизация		
1. человеке		
1. человек		
9. (в) крови		

10. наслаждение			
9. кровопроливцы	самые утонченные -	13+24+	
6. господа	самые цивилизованные -	13+25+	
.....		
8. цивилизации			
1. человек	- [если не] более кровожадец, [то уже наверно]	26+	
.....	хуже, гаже кровожаден	22+	
.....	27+28+22+	
.....		
9. кровопролитии			
9. кровопролитие			
11. гадостью			
11. гадостью	этой -	9+	
12. булавки	золотые -	29+	
10. наслаждение			
10. наслаждение			
1. человек			
13. разум			
14. науки			
14. наука	человеческую -	7+	
15. природу			
.....			
1. человек			
2. интересами	нормальными своими -	3+2+	
14. наука [научит]			
.....			
1. человека			
(хоть)			
16. законы			
17. природы			
18. хотенью	его -	12+	
16. законам			
17. природы			
16. законы	эти -	9+	
17. природы			
19. поступки	- свои	2+	
.....			
1. человек			
(жить)			
19. поступки	все - человеческие	11+7+	
.....			
16. законам	этим -	9+	
19. поступков			
.....			
20. скуки	(скучно)		
12. булавки			
20. скуки			
12. булавкам	золотые -	29+	
.....			
1. человек			
21. благоразумия	золотым -	20+	
.....			
6. господа	всеобщего будущего -	30+31+	
.....			

21. благородумие (разу) (пожить)	все это -	11+9+
1. человек		
1. человек (хотел)		
13. разум		
3. выгода (хотеть)		
3. выгоды	собственной -	4+
18. хотенье	собственное, вольное	4+32+
.....
...*** ... 3. выгода (хоть)	и свободное - самый дикий - своя -	33+ 13+34+ 2+
1. человеку	та самая, пропущенная, самая выгодная -	9+13+ 35+ 9+16+
18. хотенья
1. человеку	какого-то нормального	36+3+
18. хотенья	какого-то добродетельного	36+37+
1. человеку	(непременно благородумно)	
18. хотенья	16+
1. человеку	выгодного -	
18. хотенья	одного (только)	5+
.....	самостоятельного -	38+
22. самостоятельность	эта -	9+
18. хотенье

Глава I.8.

18. хотенья (ха-ха-ха)		
18. хотенья (если хотите)		
18. хотенья (хочотом)		
14. наука		
1. человека		
18. хотенье		
23. воля	так называемая	39+
	свободная -	33+
господа		
18. хотенье (хотел)		
18. хотенье (хотел)		
18. хотенье		
14. науку		
18. хотений	всех наших -	11+20+
16. законам	каким -	36+
1. человек		

	(хотеть)		
	(хотела хотеть)		
'.....'			
1. человека			
1. человек			
23. воли			
18. хотений			
18. хотенья	наши -	20+	
[бывают ошибочны от ошибочного взгляда]			
'.....'			
3. выгоды	наши -	20+	
(хотим)			
3. выгоды			
'.....'	заранее предположенной -	40+41+	
16. законов	заранее	40+	
17. природы	иных -	42+	
1. человек			
18. хотенье			
7. рассудком			
(рассуждать)			
(хотеть)			
7. рассудок			
(хотеть)			
7. рассудка			
18. хотенья	все -	11+	
7. рассуждения			
16. законы			
23. воли	так называемой нашей свободной -	39+20+	
(хотеть)		33+	
'.....'			
24. свободного			
14. наук			
25. жизнь	всю мою -	11+43+	
господа			
26. подполья			
7. рассудок			
господа			
7. рассудок			
7. рассудок [но рассудок есть только рассудок			
'.....'			
27. способности	рассудочной -	44+	
'.....'			
1. человека	[и удовлетворяет только рассудочной способности человека]		
18. хотенье			
25. жизни	всей -	11+	
25. жизни	всей человеческой -	11+7+	
'.....'			
7. рассудком			
'.....'	всеми -	11+	
(хоть)			
25. жизнь	- наша	20+	
25. жизнь			
(хочу)			
(жить)			

27. способности (живь)	всей моей -	11+43+
27. способности	одной (только) моей рассудочной -	5+43+ 44+
..... 27. способности	всей моей -	11+43+
7. рассудок? [что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать]	
7. рассудок	
.....	
[иного, пожалуй, и никогда не узнает]		
(хоть)		
15. натура	- человеческая	7+
.....		
(хоть)		
(живет)		
господа		
1. человек	просвещенный и развитой -	45+46+
1. человек	[каким будет будущий человек]	31+
.....	
(захотеть)	
.....	- невыгодного	16+
.....		
1. человек		
28. глупого		
28. глупейшего		
28. глупейшего		
29. умного		
28. глупейшее	это -	9+
господа		
30. всего	- выгоднее	16+
.....		
3. выгод	выгоднее всех -	16+11+
.....	
.....		
7. рассудка	напего -	20+
3. выгод		
1. человека		
18. хотение		
(если хочет)		
(и сходиться)		
7. рассудком		
18. хотение		
7. рассудком		
господа		
1. человек	- не глуп	47+
.....		
.....	- глуп	47+
.....		
.....	- умен	48+
.....		
.....	- не глуп	47+
.....		
.....	- неблагодарен	49+

...	- неблагодарен	49+
1. человека	- неблагодарное	49+
...	постоянное -	50+
...	- постоянное	50+
...	- человеческих	7+
31. неблагонравие		
21. неблагоразумие		
21. неблагоразумие		
31. неблагонравия		
1. человечества	- человеческих	7+
...	самою -	13+
17. природою (благоразумно)		
25. жизни		
1. люди	благонравные	51+
...	и благоразумные -	52+
5. рода	- человеческого	7+
25. жизнь	всю -	11+
...	(благонравнее)	
...	(благоразумнее)	
...	(благонравно)	
...	(благоразумно)	
25. жизни		
1. человека		
1. человек		
32. неблагодарности	одной -	5+

и.т.д.

* Они принадлежат к другой инстанции текста ("не-денотативной")

** Обратим внимание на "перекрывание" двух инстанций дискурса : господы является обращением (аллокутивом), господин принадлежит к денотативной инстанции текста

*** ... = "несерийные" лексемы

Проверка

Для проверки были взяты: первая глава *Подполья* (состоящая из пяти абзацев); первый абзац второй главы; два первых абзаца второй части повести (*По поводу мокрого снега*). Кроме того, такому же анализу подверглись два первых абзаца романа *Идиот*; первый абзац *Братьев Карамазовых*; первый абзац *Подростка*; три первых абзаца романа И. Гончарова *Обломов*; наконец, первый абзац романа Н. Чернышевского *Что делать?*. Таким образом, рассмотрены другие произведения того же автора и два произведения других писателей, современные *Запискам из подполья*. Само собой разумеется, что эта подборка носит чисто справочный характер.

Как и прежде, рассматривается частотность повторов определенных слов и категорий слов. Для того, однако, чтобы придать этой проверке ценность обобщения, анализ расширен и охватывает повторы и квазиповторы всех существительных, глаголов, прилагательных и наречий. Анализируются именно эти категории, так как они плохо поддаются прогнозированию, в отличие от предлогов, местоимений, частиц и т. п. Последние значительно увеличивают избыточность текста; причем избыточность такого типа наблюдается в любом тексте. Рассмотрение ее (т.е. анализ предлогов, местоимений и пр.) и сравнение со средней избыточностью других текстов позволило бы получить интересные результаты, дало бы возможность иерархизации текстов. Для такого анализа опять же необходима машинная обработка данных; кроме того, настоящая работа ставит своей целью изучение не избыточности текста как таковой, но лишь частотности определенных категорий. Уточню термин "квази-повторы": в этой статье я отвлекаюсь от падежных и глагольных флексий, от видовых изменений и даже от монетических делений. Таким образом, в состав той же частотной парадигмы входят *злой, злым, злость, озлобленный; жизнь, живу, живем, доживу, проживу* и т. д. Учитывается лишь корень, что позволяет выявить общее в словах на уровне как обозначающего, так и обозначаемого. Такой подход вполне оправдан в нашем случае, когда в центре исследования стоит вопрос о "редупликации".

Результаты	Общее к-во повторов (сущ., прил., наречие)		Общее к-во слов (все монематич. ка- тегории вместе)	
	n	%	n	%
<i>Записки из подполья</i>				
I.1.1.	29	18,4	157	100
I.1.2.	28	10,7	261	100
I.1.3.	29	21,4	135	100
I.1.4.	41	24,6	166	100
I.1.5.	27	12,5	215	100
I.2.1.	44	28,2	156	100
II.1.1.	47	13,5	348	100
II.1.2.	52	16,0	325	100
<i>Идиот</i>				
I.1.1.	2	2,2	89	100
I.1.2.	44	10,7	410	100
<i>Братья Карамазовы</i>				
I.1.1.	21	11,3	185	100
<i>Подросток</i>				
I.1.1.	39	15,8	246	100
<i>Обломов</i>				
I.1.1.	0	0	26	100
I.1.2.	9	13,0	69	100
I.1.3.	16	19,5	82	100
<i>Что делать?</i>				
I.1.1.	33	18,5	178	100

О чем говорят эти цифры? На первый взгляд, выраженное в процентах количество повторов в *Идиоте*, *Братьях Карамазовых*, *Подростке*, более того, - в *Обломове*, особенно же в *Что делать?* приближается к цифрам, указанным для *Записок из подполья*, и дают примерно ту же частотность для определенных существительных, глаголов, прилагательных и наречий. Высокие проценты для глав I.1.4. и I.2.1. *Записок* (соответственно 24,6% и 28,2%) дела не меняют, так как любой статистический тест смог бы показать ненадежность этих данных.

Значит ли это, что наши наблюдения по поводу *Записок* не представляют собой ничего исключительного? Присмотримся внима-

тельно к явлению повторяемости в текстах, послуживших нашей проверке. Совершенно очевидно следующее: повторы в первом абзаце *Идиота* оправдываются (мотивируются) параллельным описанием князя Мышкина и Рогожина (их лица, их глаза, их молодость и т. п.), а также самой ситуацией (поезд, купе 3-го класса, тот факт, что они обращаются друг к другу и т. д.). Эти элементы больше не появляются в дальнейшем тексте. Повторы теряют ситуативную мотивировку в "объяснении Ипполита"; то же мы наблюдаем в монологах героя *Подростка*. За то в первой главе *Что делать?* повторы снова тематически оправданы (ср. повторяющиеся попытки коридорного разбудить приезжего). То же в *Обломове*, где нескончаемое утреннее вставание барина, описание его халата и пр. требуют многочисленных повторов, которые уже не возвращаются в тексте.

Совсем другая картина в *Записках из подполья*. Здесь важен не столько сам феномен повторяемости, сколько *проходной ее характер*: повторы тех же элементов проходят через весь текст. Уже в первой главе появляются ключевые слова, которые возвращаются в следующих абзацах, следующих главах - до конца книги. Примерам нет числа: именно поэтому интуитивный читатель говорит об "одержимом", "лихорадочном" стиле *Записок*, об их напряженности, об "исступленном писании", о "френетической психологии"...

Вот несколько серий, которые встречаются на всем протяжении текста, причем иногда их концентрация воистину удивительна:

I.2.1. *сознания, сознание, сознавать, сознавал, сознавал.*

I.2.2. *а делать такие неприглядные действия, такие, которые... ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают (...), что их совсем бы не надо делать. Чем больше я сознавал (...)*

В последнем примере перед нами тройная редупликация. Но это не все, в том же абзаце мы находим:

сделаешься, переделаться, переделываться, сделал, на самом-то деле, переделываться, переделавшись, поделаешь.

Последняя серия занимает одиннадцать строк.

Приведу еще пример из 4-й главы *Подполья* со словами *боль* и *зубы* и/или *зубная боль*. Первое появляется уже в I.1.1. (я человек *больной*), второе в I.1.2. (я *зубами* на них скрежетал); затем начинается редупликация:

зубной боли, болели зубы, боль, зубов, болеть, зубы, проболят, побольнее, более (sic!), зубами, болезни, зубы болят и т. д.

Та же серия появляется в I.2.2., I.4.1. и т. д.

И вот последние примеры из второй части ("По поводу мокрого снега"), главы 1 и 2:

Струсил я тут не из трусости (...)

"Я-то один, а они-то все", думал я и задумывался (...)

Я был в восторге. Я торжествовал и пел итальянские арии (...) обычновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок чтоб совсем загрязниться, следственно, можно грязниться (...)

Мне кажется, что на этом можно остановиться. Приведенные примеры доказывают, что текст *Записок из подполья* беспрестанно "замыкается на себя"; явления, замеченные в главах 7 и 8, вытекают из предшествующего, и "тавтологические редупликации" (самая выгодная выгода) не что иное, как кульминационные точки необычайной рекурсивности всего текста.

Сопоставление, сделанное нами с целью проверки, показывает, что по желанию можно вычитать из текста что угодно, если ограничиваться анализом отрывков (так, оказывается возможным уравнять повторяемость *Обломова* и *Записок*). Из этого мы заключаем, что интерпретация, действительно заслуживающая определения *текстовой*, если ее задача состоит в объяснении реального текста, не может осуществляться иначе, чем на основе текста в целом, а по меньшей мере, должна стремиться к такой исчерпываемости.

Остается одно возражение: не является ли "тавтологический" стиль *Записок из подполья* характерным для любого текста "риторического" типа или типа "исповеди"? Возражение не лишено оснований; следует помнить, однако, о проблеме степени рекурсивности, она же в *Записках* совершенно исключительна. Причем я имею в виду весь текст *Записок*, ибо - как мы видели выше - вторая часть повести, конструктивным принципом которой не является исповедь, по рекурсивности не уступает первой.

Так возникает вопрос о единстве текста и его смысле. Начнем с последнего.

2. От обозначаемого к смыслу: дискурс пустой по смыслу

Из сказанного следует, что "тавтологическая редупликация" является собой кульминационную точку рекурсивности текста *Записок из подполья*. Но какова разница между *самой лучшей выгодой*, *первоначальной выгодой* и пресловутой *самой выгодной выгодой*? Разница ли это в степени, в глубине, в истинности...? Мы видим, что можно нанизывать определения до бесконечности, отсылая слово к самому себе.

В чем же заключается смысл понятия "тавтологическая редупликация", смысл явления, хорошо знакомого и другим языкам, но в русском - постоянного с незапамятных времен?

Стоит вспомнить жалобы русских жен, оплакивающих доблестных воинов, павших от руки врагов из азиатских степей на закате XII-го века:

уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни
думою слумати, ни очима съглядати...

Сколько чувства и истинного пафоса в этих строках *Слова о Полку Игореве!* Но "тавтологическая редупликация" такого типа - не исключение. Ими изобилуют средневековые жития святых, былины, народная поэзия; они часты и в современной фразеологии и, естественно, в литературе. И они весьма затруднительны для перевода.

Таксиномия обозначаемого

Эмоции и пафос, углубление смысла, выразительность, - этими и подобными объяснениями пользуются и риторика, и литературная стилистика, и лингвистика (синхронная и диахронная), подходя к интересующей нас проблеме. Как правило, на этом объяснения заканчиваются.

Возьмем несколько определений.

"Фигура, дополняющая выражение мысли с тем, чтобы придать ему ясность и энергию, слова излишние, впрочем, с точки зрения грамматической целостности выражения": так Фонтанье (Fontanier 1827) определял плеоназм, если последний был "истинным", а не возникал в результате злоупотребления, порока речи, излишества - т.е. не являлся периссологией. Тот же трактат по риторике описывает другие фигуры речи, порожденные "обильностью", "распространением" или "эмфазой", и дает им похожие определения: "гармония стиля и сила

"выражения", "более сильное и более энергичное выражение страсти", "более или менее сильное движение души"...

Более современные трактаты дали немного нового. В "Градюсе" (Gradus 1984) "тавтология" считается "логическим пороком", кроме тех случаев, когда она несет на себе "смысловую нагрузку". Даже в "Общей риторике" группы μ (Rhétorique générale 1982) повторение и плеоназм, действуя как "отклонение" (по отношению к норме текста, принимаемой в качестве "нулевой степени"), "несут смысловую нагрузку", могут сообщить больший вес событию, большую выпуклость деталям, "прежде всего подчеркивают дистанцию по отношению к референту". Для Г.Ф. Плетта повтор служит, между прочим, тому, чтобы "вызывать эмоции" (Plett 1973: 41). Наконец, для сторонников конверсационного анализа тавтологии типа "женщина есть женщина", "на войне, как на войне" представляют собой "граничные случаи пародирования первого количественного правила" ("ваше сообщение должно содержать столько информации, сколько требуется в данный момент"). На уровне "сказанного" они лишены содержания, несут же информацию на уровне "подразумеваемого", имплицитного (Grice 1975).

Вернемся к русскому языку. Н.Ю. Шведова исследует "тавтологическую редупликацию" в рамках синтаксических конструкций с "экспрессивно-модальным значением" (Шведова 1960). Работа Шведовой имеет то неоспоримое достоинство, что в ней дается формальная классификация этих конструкций: тем самым есть возможность разделить застывшие конструкции от продуктивных, характерные для словообразования от синтаксических; кроме того, работа богата информацией об узусе (разговорные, просторечные и пр. формы). Что же касается обозначаемых всех этих удвоений, усугублений, редупликаций, сочетаний с препозитивным инфинитивом (знать не знаю; взять возьму), или "двух однокоренных слитно произносимых прилагательных или причастий" (заняты-перезаняты; рад-радешенек) и т. д., Шведова не объясняет ничего более того, что содержится в определении Э. Сепира: "редупликация (...), повтор всего или части корня" это "прием (...), который обычно используется - благодаря очевидной символике - для выражения таких понятий, как дистрибутивность, множественность, повторяемость действия, повышенная интенсивность, непрерывность" (Sapir 1921). При всем этом ничего не сказано о том, какими смыслами могут наполняться тавтологические редупликации в литературном тексте. Справедливость ради нужно заметить, что работа Шведовой относится к "синтаксису разговорной речи", хотя большинство примеров она и берет из литературных источников.

Здесь нет места перечислять все работы, посвященные проблеме "тавтологической редупликации" и ее вариантов. Их цели прежде всего формальны; установка меняется в зависимости от позиции автора: фразеологическая, стилистическая (советская "функциональная стилистика"), нормативная, диалектологическая, диахронная. Та же терминология определяемого повторяется во всех работах: "эмоция", "интенсивность", "обычность действия", "экспрессивность", "глубина", "смысло-вая нагрузка". Д.С. Лихачев в "Поэтике древнерусской литературы" (1971), говоря о тавтологических сочетаниях, очень часто встречающихся в житиях святых XIV-XV вв., отмечает "повышение эмоциональности", рассчитанное на то, чтобы передать читателью "известный" смысл, скрытый в глубине высказываний, передать их "мистическую значительность". Согласно Лихачеву, такие тавтологии (учить учением; устрашиться страхом; запрещением запретить) обнаруживают одновременно скрытую полисемию и отвлеченность божественного замысла. "Слово воздействует на читателя не столько своей логической стороной, сколько общим напряжением таинственной многозначительности, завораживающими созвучиями и ритмическими повторениями. Жития этого времени пересыпаны восклицаниями, экзальтированными монологами святых, внутренними монологами, абстрагирующими и эмфатическими нагромождениями синонимов, эпитетов, сравнений, цитат из священного писания и т. д." (Лихачев 1971: 131-132).

Другие исследования показали, что плеонастические сочетания глаголов и отвлеченных от глагольных существительных, наряду с парономазиями и другими проявлениями лексической редупликации, составляют одну из типичнейших черт "плетения словес", - образцовым в этом смысле является *Житие Стефана Пермского*, составленное Епифанием Премудрым. И здесь исследователем отмечаются "экспрессивность", "эмоциональность", "эмфаза", "торжественность", "убедительность" стиля (Kitch 1976).

Мы отошли далеко от Записок, но небезынтересно подчеркнуть, что в эпоху работы над *Записками* Достоевский зачитывался евангельскими текстами, псалмами, житиями и т. п. (Catteau 1978: 115-116).

Нельзя отрицать, что изучение "тавтологических редупликаций" пошло вперед по сравнению с античными и созданными под влиянием античных работами по риторике. Разработана их классификация по признакам "поверхностной" структуры, разработана типология. Но неясности остаются. "Редупликация" - явление поразительно часто встречающееся в русском языке, но оно особенно характерно для некоторых жанров и для некоторых периодов. Существующие работы

ограничиваются констатацией этого очевидного факта. Что же касается самой сути явления, то исследователи неизменно отсылают к одной и той же таксиномии определяемых, таксономии, которая объясняет далеко не все. Где, к примеру, проходит граница между повтором и тавтологией? Если частые повторы в народной поэзии можно объяснить их игровым, мнемотехническим характером, то крайне затруднительно усматривать в их определяемых "эмоциональность", "интенсивность" или "глубину". Если тавтологии в житиях святых могут выражать "мистическую глубину", то гоголевские тавтологии из украинских повестей (как запирал пир в *Страшной мести*) или из *Тараса Бульбы* (*червонели красные реки*), должны объясняться как-то иначе, и, конечно, не только игровым и мнемотехническим их характером.

Что же сказать об удивительной цепочке "настоящих интересов", "настоящих, нормальных интересов", "настоящих выгод", "самых лучших выгод", "самых выгодных выгод" в *Записках из подполья*?

Тавтология и противоречие

Если смысл "тавтологических редупликаций", отмеченных нами в *Записках*, не совпадает с семантическими описаниями, которые дает нам таксономия определяемых, то происходит это по простой причине: смысл и определяемое - явления разного порядка, они "означают разное". В своей книге *Сказать и не сказать* (Дистот 1972:111) О. Дюкро утверждает, что в семантическом толковании высказывания следует различать две компоненты: *лингвистическую* и *риторическую*. Первая приписывает любому высказыванию, независимо от контекста, определенную семантическую наполненность, "буквальный смысл", который Дюкро называет *значением* (то, что мы называем "определяемым", *signifié*). Риторическая же слагающая направлена на определение *смысла* высказывания, который возникает как взаимодействие "значения" высказывания (т.е. его "определяемого") и контекста.

Какое семантическое описание соответствует "буквальному смыслу" наших редупликаций? Буквально говоря, никакое, ибо в этих случаях слово отсылает только к самому слову. В высказывании *выгодная выгода* слово *выгодная* отсылает к *выгоде* - и наоборот. Функция редупликаций металингвистична, отсюда их "глубина смысла", "экспрессивность", "интенсивность", наличие "имплицитного". Но имплицитное отсылает к контексту, контекст же в нашем тексте не что иное,

как сам текст в целом, который, как мы уже знаем, "кругообразен", замыкается на себя.

Мы видели, что эта "кругообразность" материализуется в ряде таких явлений, как повтор, переходящий в тавтологические редупликации ("тавтологическое порождение"), или же парономазии; ту же роль играют и частая в *Записках* синонимия, и аналитические фразы типа: "рассудок есть рассудок". Обратим внимание на последнюю фразу, являющуюся ключевой для 8-й главы первой части и для всего текста:

... Видите ли-с: рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но *рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком и со всеми почесываниями (...)* Что знает рассудок? *Рассудок знает только то, что успел узнать* (иного, пожалуй, и никогда не узнает) (...) [Курсив мой]

Фактически, фраза *рассудок есть только рассудок* квази-аналитична: модальное наречие *только* открывает трещину в монолите тавтологии, и в эту трещину устремляется сама *жизнь!* Контекст говорит об этом в самом буквальном смысле. Нечто подобное происходит и во второй фразе процитированного отрывка, где обыгрываются глагольные виды (*знать - узнать*); игра видами глагола - излюбленный прием Достоевского, и мне еще придется к нему вернуться.

"Кругообразности" текста *Записок* способствует еще одна, весьма важная группа явлений - *противоречия*; на них необходимо задержаться, так как текст *Записок* пестрит ими. Вот несколько примеров:

- I.1.1. Я достаточно образован, чтоб не быть суеверным, но я суеверен.
- I.1.3. Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник.
- I.1.1.-I.1.4. Я злой человек - Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым.
- I.7.3. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен (...)
- I.11.4. Даже вот что было бы лучше: это - если б я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настрочил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствуя и подозреваю, что я вру как сапожник.

Стоит привести здесь непосредственное продолжение последнего отрывка:

- Так для чего же писали все это? - говорите вы мне.

продолжает человек из подполья. Чуть ниже он присваивает себе эти слова, защищаясь от упреков, с которыми обращаются к нему оппоненты ("вы" в тексте):

Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил...

Итак, резюмирую: *Записки из подполья* - это "кругообразный" текст, беспрерывно замыкающийся на себя, причем главную роль в этом "замыкании" играют тавтология и противоречие, приемы, к которым направлены все описанные нами явления. Их одновременное присутствие в тексте знаменательно.

Здесь уместно вспомнить, как Витгенштейн определял эти приемы в своем знаменитом *Трактате*:

4.461 (...)

Тавтология не имеет условий истинности, ибо она безусловно истинна; противоречие же ни при каких условиях не бывает истинным.

Тавтология и противоречие лишены смысла (*sinnlos*).

4.611 Тем не менее, тавтология и противоречие не бессмыслицы (*unsinnig*); они принадлежат к символической системе так же, как "0" принадлежит к символической системе арифметики.

4.466 (...)

Тавтология и противоречие являются предельными случаями знаковой связи, а именно ее распадением.

(Wittgenstein 1921)

Отталкиваясь от этих определений, рискнем истолковать наш текст. Целая система дискурсивных явлений в *Записках из подполья* направлена на то, чтобы лишить смысла текст. Последний порождает тавтологию и противоречие, в которых отменяются условия истинности. Но это не бессмыслица: стремясь к перенасыщению тавтологиями и противоречиями, текст обретает символический смысл, - так же, как "0" осмысливается внутри символической системы арифметики. Чем

больше текст лишен смысла, тем отчетливее проявляется в нем символика писания (или письма, *écriture*), и понятными становятся утверждения человека из подполья о том, что он не пишет литературного произведения и тем менее исповеди, а пишет для себя, для того лишь, чтобы писать:

Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единствено только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма (...)

Так заканчивается *Подполье*, первая часть *Записок*. Но еще остается "давнишнее воспоминание", которое "давит", "анекдот, который не хочет (...) отвязаться": это тема второй части повести - *По поводу мокрого снега*.

3. Единство текста

По форме вторая часть *Записок* сильно отличается от первой, - если верить тому, что обычно говорится на эту тему. Приведу два противоположных высказывания, у которых общие методологические предпосылки - отказ от идеологической интерпретации и обращение к тексту. Один из исследователей видит в *Записках* "формальную дихотомию между изложением - пусть диалогизированным - идеологии и новеллой, иллюстрирующей это изложение" (Cattaneo 1978:113). Другой исследователь, констатируя "более традиционно-повествовательный характер" второй части, настаивает на том, что она продолжает "инсценировку" мыслей первой части; в ней идеи получают "роли", что превращает ее в настоящую "драму речи". В этой трактовке легко узнать уже упомянутый нами тезис Ц. Тодорова. Итак, перед нами два мнения; оба подчеркивают "диалогичность" повести (по Бахтину), но разнятся в самом существенном - в вопросе о единстве текста. Надо отметить, что оба автора сходятся по другому вопросу: они говорят о "голосе молчания" Христа перед Великим Инквизитором и о безмолвном объятии и тихом поцелуе Лизы во второй части *Записок*. "Из диалогического и отрицающего столкновения рождается третий голос, который выражает себя - да извинит читатель этот парадокс - молчанием, как Христос перед Великим Инквизитором в *Братьях Карамазовых*" (Cattaneo 1978:113). "Это выход за пределы языка, но не отказ от смысла", утверждает Тодоров, который приводит другие примеры "молчаний" в творчестве Достоевского. Он продолжает:

"чистый жест Лизы прерывает речь, но с тем большей силой начинает действовать символическая "цепь" ". (Todorov 1978:159-160). И далее: жест Лизы объясняет, почему Достоевский не счел нужным восстановить цензурную купюру в конце первой части, место, где говорилось о "положительном принципе", о решении во Христе, - в этом случае у повести было бы два конца вместо одного, настоящего - "жеста Лизы", - и "повесть потеряла бы большую часть своей силы" (там же, 158).

В этом рассуждении мне видятся по меньшей мере два спорных пункта. Во-первых, ссылки на Великого Инквизитора и на другие "молчания" выводят анализ за переделы текста, толкование основы - вается на антиципации. Во-вторых, и это более серьезный упрек, *Записки из подполья не оканчиваются "молчаливым объятием Лизы"*. Замечания Тодорова интересны, но могут быть оспорены: доля произвольности в его толковании слишком велика.

Настоящий анализ показал, что и в первой, и во второй частях *Записок* имеют место те же явления замыкания текста на себя: так устанавливается связность текста и вместе с тем единство произведения (см. выше, пункт 1, Проверка). Можно возразить, что единство текста не тождественно его единству "на поверхности". Но наш анализ показал, что референтные внутритекстовые связи проявляются на разных уровнях текста, в разных текстовых инстанциях. Наряду с "экзофорической" референтностью мы отметили наличие внутритекстовых "экзофорических" связей, ведущих к стиранию границ между текстовыми инстанциями и к их "перекрыванию": так перекрываются денотативная и аллокуттивная инстанции, так возникает контаминация между прямой и косвенной речью (типичная для Достоевского "*direkt-indirekte Rede*", подробно описанная В. Шмидом, Schmid 1973), этому служит обыгрывание кавычек [а также курсив, скобки, отсылки с помощью тот, этот, так называемый и пр. Все это заслуживает детального анализа. См. теоретический анализ "местоименных актуализаторов" и референтности в: Падучева 1985.], свидетельствующее об изощренной писательской технике. Напомним, что согласно Р. Мартену (Martin 1983:96), заключить высказывание в кавычки, значит сделать из него "текстовый островок", подразумевающий структуру "как говорит X", где X может быть распознан адресатом или нет; к этой проблеме я должен буду еще вернуться.³

4. Неисчерпаемый дискурс

Принятый нами принцип исчерпываемости заставляет констатировать тот тривиальный факт, что литературный текст образует целое, с началом и концом: об этом я говорил во введении к настоящей работе, но до сих пор факт этот в работе не нашел отражения, - он не отражен и в большинстве существующих исследований о *Записках*.

В начале повести дается примечание, подписанное самим автором: Федор Достоевский. Кончается же повесть несколькими строками, отделенными от всего текста. По объему вступительное примечание и заключение не велики, но пренебрегать ими не следует, так как они исключительно важны для интерпретации произведения как целого.

Под этим углом зрения становится явным, что *Записки* состоят не из одного, а из трех текстов, точнее, трех дискурсов, если взять в качестве критерия различия производителя дискурса.

Подписанное "Федор Достоевский" примечание в начале повести дается от первого лица (*Я хотел вывести перед лицо публики...*). Мы можем поэтому обозначить его как "дискурс автора", символически Да.

Посмотрим, как обстоит дело с заключительными строками повести. Даём ниже эти строки, предваряя их последней фразой текста собственно "*Записок*":

(...) Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи. Но довольно; не хочу я больше писать "из Подполья"...

Впрочем, здесь еще не кончаются "записки" этого парадоксиалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться.

Со всей точностью можно сказать, что последние строки не принадлежат "человеку из подполья": о нем говорится в третьем лице; значит ли это, что здесь появляется "автор"? Ничто в тексте не дает основания для такого утверждения: заключение не подписано, а употребление в нем мы включено в безличную конструкцию (*нам... можно...*).

Не хочу я больше писать... - нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться: слово явно переходит от одного "производителя" речи к другому. Не относится ли мы последних строк к господам, к которым обращался автор записок? Но и это недоказуемо. Основываясь на признаках на поверхности дискурса, это высказывание невозможно идентифицировать. Обозначим его "дискурс X", Дх.

Дискурс "человека из подполья" характеризуется в большинстве работ в бахтинском духе, как "полифонический". Выше мы показали,

как стираются границы дискурсивных инстанций в этом тексте. Можно добавить, что дискурс "господ", "вы", объявляется человеком из подполья "его" собственным (Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья, - сказано в 11-й главе первой части). Мы вправе поэтому говорить о "дискурсе человека из подполья" (далее *Дп*).

Итак, три дискурса образуют совокупность текста повести, причем *Дп* обрамлен двумя другими, что можно представить в виде следующей схемы:

$$T = Да \text{ } Дп \text{ } Дх$$

Значение такой композиции определяется тем, что кроме описанной нами игры с дискурсивными инстанциями, текст строится как *игра с истинностными условиями* *Дп*. Как *Да*, так и *Дх* содержат утверждения реальности существования "записок" (человека из подполья):

Да: И автор записок и самые "Записки", разумеется, вымыщлены (...) В этом отрывке, озаглавленном "Подполье", это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие "записки" этого лица о некоторых событиях его жизни.

Федор Достоевский

Дх: Впрочем, здесь еще не кончаются "записки" этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее (...)

В *Да* "записки" и их автор обзываются "вымыщленными". Определение "настоящие" не превращает их в "реальные", оно действует в этом контексте как литературная условность. Характерно, что французский перевод повести опускает это определение, используя выражение "записки в собственном смысле" (*Le fragment suivant offrira, cette fois à proprement parler, les "Notes"*... [Aubier-Montaigne 1972:41; курсив мой]).

В *Дх*, напротив, предпосылка "вымыщленности", "несуществования" "записок" (т.е. *Дп*) не включена в высказывание: впрочем, здесь еще не кончаются "записки" этого парадоксалиста... Местоимение *этого* является дейктическим, указывает на "существующее". А в следующей

фразе говорится, что автор парадоксов продолжал далее, иными словами, снова дается указание на некую "внеконтекстовую" реальность. Стоит задать вопрос, о какой "реальности" идет здесь речь.

"Знак в самом себе несет свое значение (свое обозначаемое) и только оно одно существенно для коммуникации. Оно может находиться в противоречии с мыслью того, что употребляет знак, и в таком случае оно не будет соотноситься с понятием реальности. Вне языка в этом заключается жизненный принцип литературного и поэтического вымысла" (Bally 1965:37-38). Текст, который мы рассматриваем, разумеется, вымысел с начала и до конца. Но фикция может представляться реальностью или играть с реальностью, и язык - инструмент этой игры. Два первых высказывания *Дх* содержат глаголы, в самом значении своем подразумевающие истинность высказывания (см. Падучева 1985:10). Таковы декларативные глаголы *не кончаются, продолжал далее*. Третья же (и последняя в *Записках из подполья*) фраза предполагает лишь возможность: *нам... кажется, что... можно*. Текст повести кончается утверждением *непрерывности и возможности* в одно и то же время эксплицитной (*можно*) и имплицитно присутствующей в модальности глаголов (*кажется - можно*).

Резюмируем сказанное. Игра "в реальность или с реальностью" постоянно в *Записках из подполья* и составляет основную тему повести:

- игра с дискурсивными инстанциями: перекрывание или стирание инстанций дискурса (пример: *разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил*, и напрашивающийся вывод: *эти слова ложны, они ко мне не относятся, вы ничего не сказали, вы просто не существуете*); игра с противопоставлением текста "рассказанного" тексту "обращенному" (как в случае противопоставления обращения *господа!* = *вы* указанию *господа = вы*); игра с распознаванием "текстовых островков", и т. п.;
- игра с реальностью самих "записок" и их автора, о которой мы только что говорили;
- игра, наконец, со смыслом текста: "тавтологическое порождение" и противоречия направлены, как мы видели, на то, чтобы лишить текст смысла, замкнуть его на себя.

Мы знаем, однако, очень хорошо, что текст не лишен смысла, что, замыкаясь на себя, текст не превращается в замкнутый круг, в монолите есть трещины. Противоречия мнимы, их логическая лживость может

быть доказана истинной внелогическими средствами: человек из подполья на самом деле не противоречит себе, он притворяется, он врет... Речь идет о так называемых "falsidical paradoxes" Куайна (Quine 1966), обладающих несколькими уровнями (знания, сообщения, реальность, поведения) (см. Golopentia-Eretescu 1971:87; Marcus 1982:158). Что же касается тавтологии, она не становится полной. Вспомним: рассудок есть только рассудок - это отказ от "аналитической фразы", верной по самому определению. Такой аналитической фразе человек из подполья противопоставляет жизнь, точно так же, как он противопоставляет арифметически ложную формулу ($2 \times 2 = 5$) формуле истинной ($2 \times 2 = 4$), которая не что иное, как "начало смерти".

Где же истинная "реальность"? Что такое настоящая живая жизнь? (так!) В том ли истина, чтобы перестать писать из "Подполья", вернее, перестать писать "из подполья"? [Первая фраза отвечает на вопрос "откуда?", вторая - на вопрос "как"]

Мы видели, что анонимный и неуловимый автор *Дж* заключения повести утверждает, что человек из подполья "не выдержал" и продолжал писать. Стоит отметить в этом предложении и парономазию (держал... должен... далее) и удвоение смысла, т.е. тавтологию (продолжал далее). Обозначающее и обозначаемое встречаются в этом д...ал, в котором можно видеть символическое отображение всего дискурса *Записок из подполья*.

Единственный способ избежать замкнутого круга - не останавливаться, продолжать писать. Именно так можно уйти от "аналитической фразы", которая, быть может, истинна, но которая означает "начало смерти". Достоевский показывает нам в *Записках* (и позже, в других произведениях), что условия истинности писания заключаются в его непрерывности, в писании, которое утверждает свою истинность тем, что "пишется".

Непрерывность, продолжение - одна из главнейших тем Достоевского, и тема эта содержится в самом языке, в лингвистических возможностях русского языка. Таково обыгрывание глагольных видов, о котором мы говорили: знать - узнать, или в месте, где говорится о формуле $2 \times 2 = 4$ и где дана характеристика: достижение он любит, а достигнуть уж не совсем. Интересно сопоставить это место с темой "Объяснения Ипполита" в *Идиоте*:

Дело в жизни, в одной жизни, - в открытии ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии! [Курсив мой.]

Заключение

В свете вышесказанного можно ли согласиться с расхожими мнениями по поводу *Записок из подполья* (и всего творчества Достоевского), с утверждениями о "бредовом состоянии ума, порвавшего связи с реальностью", об "исчерпанной до конца идее", о "разрыве с жизнью" и т. п.?

Несомненно, что такой взгляд оправдывается при толковании тавтологий патологического характера, например, в речи Голядкина из *Двойника*, где они тематически мотивированы (Виноградов 1929). Но в других случаях такие слишком метафорические толкования как бы паразитируют на тексте, представляя собой не больше, чем пафразу, - и объясняют его очень неполно или необъективно. В настоящей работе мы старались избежать этой опасности.

Исчерпанную до конца идею, порвавшую связи с реальностью, порвавшую с жизнью, искать следует "вне" Достоевского, в том именно, с чем он боролся в *Записках из подполья*, - в утилитарной утопической идеологии и в идеологическом дискурсе того времени, наиболее открыто и полно выражившихся в *Что делать?* - в "рассказах о новых людях", как уточняет подзаголовок книги, которую ожидало как известно, блестящее будущее.

Именно этот идеологический и утопический дискурс, утверждающий конечные истины, захватывает и стремится исчерпать семантическое поле возможных миров, именно этот дискурс пытается подчинить жизнь идею "абстрактного человечества".

* * *

Многое еще можно сказать и о *Записках из подполья*, и о тавтологии. Наш анализ остался в строгих рамках синхронии текста (за исключением операций проверки). Стоило бы провести более углубленную проверку с изучением других произведений Достоевского, в частности, его дневников и заметок. Особенно в последних кроется множество интересного с нашей точки зрения. Вот что мы читаем, например, в *Записных тетрадях* за 1864-65 гг., т.е. относящихся к периоду работы над *Записками из подполья* (Литературное наследство. Неизданный Достоевский, 1971:214):

Хоть и не дело, но зато дела, и это принимает за дело. Таким образом, не делая дела, а делая дела, он делает дело, и это дело выходит вовсе не дело и, как нам кажется, не поможет ему [уст] обделать его дела...

Говорит ли здесь "больное сознание", "ум, оторвавшийся от реальности", "человек из подполья"? Нет, конечно, - здесь налицо "живая речь" Достоевского, все так же занятого размыканием замкнутого круга идеологического дискурса.

Можно было бы говорить о предшественниках Достоевского, прежде всего, о Гоголе, чье влияние в *Записках из подполья* (и в других книгах Достоевского) очевидно и проявляется оно в первую очередь в "тавтологических редупликациях". Нагнетание тавтологий во второй части *Мертвых душ* и в *Избранных местах из переписки с друзьями* больше, чем у Достоевского свидетельствует о "кризисе", "драме", "неудаче" (см. Мандельштам 1902 и Белый 1934). Можно было бы говорить о диалоге *Записок из подполья* с литературой той эпохи, об "интертекстуальности" (еще один тип референтной связи - на этот раз "экзофорической" - с Текстом). Можно было бы расположить эти референтные элементы на оси, где один из полюсов был бы эксплицитным (Гейне, Руссо...), а другой - все более имплицитным ("Хрустальный дворец" или "живая жизнь", несомненно отсылающая к концу тургеневского "Дневника личного человека": "живите, живые!" или же гоголевские гиперболы и тавтологии).

Можно было бы говорить о литературе более позднего времени, например, о Петербурге А. Белого, где "тавтологическая редупликация" играет исключительную роль. Вспомним появление "белого домино":

кто-то печальный и длинный, кого будто видела многое
множество раз, весь обвернутый в белый атлас (...) из-под
прорезей маски смотрел светлый свет его глаз (...)

или мотив "расширения", например в главе 7-й ("Безмерности"):

А какие-то были рои себя мысливших мыслей; и мыслил не
он, но... себя мысли мыслили... - мыслилось (...)

Есть еще тавтология Платонова, есть и увязание в тавтологии, саморазрушение текста у Хармса - одно из лиц абсурда (см. Jaccard 1985). Ссылки на *Записки из подполья* придают особую глубину такому "саморазрушающемуся" тексту, как *Блондин обеего цвета* В. Марамзина. А бывает, что тавтология входит в название книги, - и только лишь в название? Случайно ли, что одно из самых значительных произведений "оттепели" - рассказ Ф. Абрамова - озаглавлено *Вокруг до около?* А что сказать о названии маленькой и полной отчаяния книге Н. Баранской - *Неделя как неделя*, - ведь это не что иное, как "фразеологическая" тавтология.

Тавтология и ее "изнанка" - противоречие - предстают как некое абсолютное оружие для борьбы с "замыканием горизонтов", против "исчерпания смысла" в идеологическом дискурсе. Впрочем, такая формулировка слишком обща - идеологический дискурс же пользуется тавтологиями. Но факт остается фактом: одно из первых и главных антиутопических произведений в русской литературе в высшей степени характерно для этой тенденции.

В настоящей статье была предпринята попытка описать и истолковать эту тенденцию, исходя из "исчерпывающего подхода" к литературному тексту. "Бредовый", "бессвязный" на поверхности дискурс *Записок из подполья* в свете этого анализа оказывается гораздо более сложным; он инверсирует утопический дискурс "конечных истин", лишая его смысла. И разрушая, он воссоздает дискурс живой, как жизнЬ - дискурс неисчерпаемый.

П р и м е ч а н и я

- 1 Ср. у Ж. Нива: "главная тема всех грешников и бунтовщиков Достоевского", это "в точном смысле слова интеллектуальный бред, бред разума, порвавшего связи с действительностью". (Nivat 1973:335). Е. Эткинд говорит о "другом мире, подчиненном иным законам" (Etkind 1983:46). Н. Бердяев подчеркивает безумие человека из подполья: "тут чувство личности, не согласной быть штифтиком мирового механизма, частью целого, средством для целей установления мировой гармонии, доведено до безумия" (Бердяев 1971:70).
- 2 Можно различить и противопоставить друг другу два понятия: *связность* и *когерентность*. Первая определяется в зависимости от контекста, вторая же является pragматической компонентой текста, определяемой по отношению к ситуации (см. Martin 1983:205), и стоит в тесной зависимости от процессов восприятия и толкования текста. Мы видели, что *Записки из подполья* обычно толкуются как "интеллектуальный бред"; таким образом, текст этот может считаться "некогерентным", но он сохраняет свою "связность". Я вернусь к этой проблеме.
- 3 Точнее: "более или менее распознаваемый". Так "Х" заключенного в кавычки и часто повторяющегося в тексте *Записок* высказывания все тонкости "всего прекрасного и высокого", - легко распознается, а во всяком случае, легко распознавался современниками Достоевского. Здесь "Х" - намек на трактат Канта *Замечания о чувстве прекрасного и возвышенного*, название которого стало модным выражением в

русской критике 1830-1850-х гг. Другие "текстовые островки" менее явны. Например, в конце второй части повести высказывание относится к "живой жизни": чувствуем подчас к настоящей "живой жизни" какое-то омерзение. Мы не распознаем автора фразы в кавычках. Но на следующей странице кавычки исчезают: Ведь мы даже не знаем, где живое-то живет теперь и что оно такое, как называется? Ясно, что это высказывание анафорически связано с "живой жизнью" на предыдущей странице. Отметим, что во французском переводе (Aubier Montaigne 1972) эта фраза теряет вопросительный знак, что по-видимому оправдано, учитывая ее характер косвенной речи (мы даже не знаем, где...). В русском тексте этот вопросительный знак не нужен по той же причине; но он не излишен у Достоевского: его появление служит "перекрыванию" текстовых инстанций, точно так же, как игра с распознаванием "островков".

Л и т е р а т у р а

- Бельй, А. 1934. *Мастерство Гоголя. Исследование*. Ленинград.
- Бердяев, Н. 1971. *Русская идея*. Париж.
- Виноградов, В.В. 1929. К морфологии натурального стиля (Опыт лингвистического анализа Петербургской поэмы "Двойник").
Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский.
Ленинград.
- Литературное наследство. 1971. Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860-1881 гг. *Литературное наследство*, т.83.
Москва.
- Лихачев, Д.С. 1971. *Поэтика древнерусской литературы*. Ленинград.
- Мандельштам, И. 1902. *Характер гоголевского стиля*. Спб. - Гельзингфорс.
- Никитина, Т.Н. & Откупщикова, М.И. 1970. К вопросу о текстовой избыточности. *Информационный анализ, НТИ*, сер. 2, №. 7, 1970:7-9.
- Падучева, Е.В. 1985. *Высказывание и его соотнесенность с действительностью*. Москва.
- Шведова, Н.Ю. 1960. *Очерки по синтаксису русской разговорной речи*.
Москва.

- Aubier Montaigne. 1972. Dostoievski F.M.: *Notes d'un souterrain*. Записки из подполья. Notice bibliographique et introduction de T. Todorov; traduction et notes de L. Denis. Paris.
- Bally, Ch. 1965. *Linguistique générale et linguistique française*. Berne.
- Barthes, R. 1964. Eléments de sémiologie. *Communications*, 4, 1964:91-135.
- Carnap, R. 1968. *Logische Syntax der Sprache*. Wien - New York.
- Catteau, J. 1978. *La création littéraire chez Dostoievski*. Paris.
- Ducrot, O. 1972. *Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique*. Paris.
- Etkind, E. 1983. Dostoievski. Une poétique de la tension. *Cahiers de la nuit surveillée*. Lagrasse.
- Fontanier, P. 1827 (1968). *Les figures du discours*. Paris.
- Golopentia-Eretescu, S. 1971. Paradoxical Words. *Revue roumaine de linguistique*, XVI, 2, 1971:85-89.
- Gradus. 1984. *Gradus. Les procédés littéraires (Dictionnaire)*. Paris: Par B. Dupriez.
- Grice, H.P. 1975. Logic and Conversation. Cole, P. & Morgan J.L. *Speech Acts (Syntax and Semantics, vol.III)*. Academic Press, Inc., 1975:41-58.
- Halliday, M.A.K. & Hasan, R. 1976. *Cohesion in English*. London.
- Jaccard, J.-Ph. 1985. De la réalité au texte. L'absurde chez Daniil Harms. *Cahiers du Monde Russe et Soviéтиque*, XXVI (3-4), 1985:269-312.
- Kitch Faith, C.M. 1976. *The literary style of Epifanij Premudryj. Pletenije sloves*. München.
- Lausberg, H. 1982. *Elemente der literarischen Rhetorik*. München.
- Lindberg, C.-E. 1983. *Text and Context. A Text Linguistic Interpretation of a Major Aspect of "Content" in Vladimir Tendrjakov's Novella "Czezvyčajnoe"*. Stockholm.
- Marcus, S. 1968. Les écarts dans la langue poétique. Cinq points de vue touchant leur classification. *Revue roumaine de linguistique*, XIII, 5, 1968:461-470.
- Marcus, S. 1982. Paradoxes. *Revue roumaine de linguistique*, XXVII, 2, 1982:157-163.
- Martin, R. 1983. *Pour une logique du sens*. Paris.
- Moeschler, J. 1985. Contradiction et cohérence dans la *Cantatrice chauve*. *Cahiers de linguistique française*. Genève, 6, 1985:79-102.
- Nivat, G. 1973. Biély et Dostoievski. *Dostoievski, Cahiers de l'Herne*. Paris.
- Plett, H.F. 1973. *Einführung in die rhetorische Textanalyse*. Hamburg.

- Quine, W.V. 1966. *The Ways of Paradox and Other Essays*. New York.
- Rhétorique générale. 1982. Groupeµ: *Rhétorique générale*. Paris.
- Sapir, E. 1921. *Language*. New York.
- Schmid, W. 1973. *Der Textaufbau in den Erzählungen Dostoevskij*s. München.
- Todorov, T. 1978. Le jeu de l'altérité: Notes d'un souterrain. *Poétique de la prose*. Paris.
- Wittgenstein, L. 1921 (1963) *Tractatus logico-philosophicus*. *Schriften*. Frankfurt am Main.